

СЧАСТЬЕ И НЕСЧАСТЬЯ В МОЕЙ ЖИЗНИ

(вместо автобиографии)

Я родился в 1906 г. 28 ноября по новому стилю — в день рождения Александра Блока на Английском проспекте, на котором у реки Пряжки Блок умер. Блок всегда был для меня воплощением самого несчастного человека. Стихи его мне не запоминались.

На квартире, где я родился, мы прожили года два — пока я еще не говорил. Квартира была темной, и чтобы расторгнуть договор с домовладельцем, отец вызывал санитарного врача.

Единственное, что мне запомнилось на той квартире, это показывавшиеся мне волшебные картинки на белой простыне. Они были цветными и появлявшийся на экране Дед Мороз имел красный нос.

Потом мы меняли квартиры каждое лето. Переезжали на дачу, чтобы за квартиру не платить, а осенью нанимали новую. Экономили квартирную плату за четыре летних месяца — с середины мая по середину сентября. Новую квартиру нанимали всегда около Мариинского театра, чтобы ходить на балеты, не беря извозчика. Моей матери в балет надо было надевать бриллианты. На бриллианты уходило все жалование отца. Однажды был такой случай. Мать надевала ротонду на чернобурой лисьей подкладке. Ротонда была необходима, чтобы не смять дорогое платье. Возвращаясь, родители как-то переходили Неву, чтобы там нанять извозчика: он стоил на той стороне на три копейки дешевле. Отец шел впереди, мать сзади и упала, но подняться не могла — руки были закрыты в ротонде. Отец не услышал крика матери. Городовой помог подняться. Таковы были превратности петербургской жизни: экономили три копейки на извозчика, но покупали бриллианты, чтобы в ложе на балете выглядеть не беднее других.

Меня самого водили в балет с четырех лет. Сперва днем — на «Щелкунчика», а потом и на вечерние спектакли. У меня было и свое место. Наша ложа в третьем ярусе была рядом с ныне не существующим балконом, и между ложей и балконом было небольшое местечко, на которое меня и пускали капельдинеры, хорошо знавшие моих родителей. Кстати, капельдинеры носили белые чулки до колен, голубые штаны и яркие желтые фраки с позументами. Мне они казались чудом красоты.

Всю зиму я только и ждал лета, которое проводили в Куоккале, где было множество знакомых семей, где семьями играли в крокет и серсо, катались на лодке, компаниями совершали далекие прогулки на весь день, справляли дни рождения и именины, катались на «гигантских шагах» (взрослые и дети), а во время Первой мировой войны собирали пожертвования на раненых воинов, вязали «напульсники», шерстяные «шлемы» под фуражки, да и многое другое.

С началом войны я пошел в старший приготовительный класс школы Человеколюбивого общества, а затем в Гимназию и Реальное училище Карла Мая на Васильевском острове. Сразу кончились мои беззаботные, счастливые дни. Учиться мне было трудно. Я до смерти боялся домашних заданий — учить наизусть стихи. Я не мог учить стихи, не выходило. На переменах любил играть в «казаки-разбойники» и в пятнашки.

Годы Первой мировой войны были для России «началом конца». Мостовые не ремонтировались, фасады домов стояли облупленными, появились очереди у магазинов, трамваи были переполнены, с дровами были трудности.

В конце 1917 года отец, работавший перед тем в Главном управлении почт и телеграфов, перешел на работу в Первую государственную типографию (теперь «Печатный Двор») на Петроградской стороне. Меня перевели в школу имени Лентовской поближе к нашему дому.

Мне уже приходилось писать о моих совсем не похожих друг на друга, но очень хороших школах. Однако я нигде не писал о том, как ужасно жилось в 1918—1920-х годах. Петроград голодал, а зимой еще к тому же мучился от холода. Одно время не было электричества. Долгие зимние дни коротали с ночниками, которые я научился делать наподобие лампадок, но с «ламповым стеклом» из бесцветной бутылки, ибо снова зажигать ночник было нечем: самодельные спички стоили очень дорого и были плохи. Недаром мальчишки, торговавшие ими на улицах, выпевали на разные голоса:

Спички шведские —

Головки советские:

Пять минут вонь —

Потом огонь.

Одну зиму мы ночевали в своеобразных палатках. Делали их в бывшей гостиной из ковров и согревались в них «надышенным воздухом» или горячими чайниками. Деньги настолько упали в цене, что бумага, шедшая на их печатание, дороже. Поэтому власти перешли на почтовые марки. На марках печаталась их цена в миллионах («лимонах» по тогдашнему выражению).

Единственный источник продовольствия была деревня, куда ходили пешком и ездили в переполненных товарных вагонах обменивать на муку, крупу, молоко, творог и пр. драгоценности, серебряные ложки, белье, посуду и пр.

Предпринимал такие поездки и мой старший брат Михаил.

Жили ожиданием: «Ведь не может же так продолжаться вечно». Но продолжалось, пока не появился красный террор. И все-таки мы с отцом играли вечерами в шашки, на ночь в постелях читали Лескова и Всеволода Соловьева, ходили слушать политические лекции Омельченко, во время которых слушателям давали стакан морковного чая и маленькое блюдечко с повидлой.

В городе продолжалась жизнь — лекции, иногда самые сложные, для интеллигенции и «танцульки» для моряков и солдат, на которых танцевали в основном «ту степ».

С приходом НЭПа многое изменилось к лучшему. Люди верили — НЭП будет всегда, установлен прочно. Какая-то жизнь появилась и в опустевших школах. На место уехавших за границу учеников появились новые, возвращающиеся с Юга, из Польши, из Средней Азии, из Сибири.

Одинокая жизнь без знакомых и друзей прекратилась.

Я стал ходить в кружки, которые собирались и в школе, и у преподавателей на дому.

В школе ставились пьесы Чехова, «Маленькие трагедии» Пушкина.

Опыт пещерного быта Петрограда 1918—1920 гг. пригодился мне в дни блокады Ленинграда. Те же «ночники», те же «буржуйки», топившиеся мебелью и книгами, та же гимнастика маханием рук «по-извозчицьи», чтобы согреться, даже тот же репертуар простенького и отвлекающего чтения.

В 1923 г. я окончил школу и поступил в Университет на Этнолого-лингвистическое отделение Факультета общественных наук вопреки воле отца, хотевшего сделать из меня инженера. Поступил я на год моложе допустимого возраста и сразу оказался в среде людей старше и опытнее меня, людей лучше подготовленных. Дело в том, что в Университете училось много людей по многу лет. Стипендий не платили и поэтому многие работали и оставались на одном и том же курсе по несколько лет.

Коллеги явно меня обгоняли и я, чтобы не отставать, набросился на изучение языков, на лекции, которые не очень мне были нужны, продолжал посещать различные философские, литературные, философско-религиозные кружки. К тому же отчасти под влиянием Бахтина мы, молодежь, провозгласили лозунг «веселой науки», и восемь человек организовали шутивную «Космическую академию», которая вскоре привлекла внимание «органов» ОГПУ. 8 февраля 1928 года все члены КАН (Космической Академии Наук) и большинство членов «Братства Серафима Саровского», которое я также посещал, были арестованы и через девять месяцев получили различные сроки — три и пять лет — в лагеря «особого режима».

Пребывание на Соловках с пятилетним сроком подробно обо мне в книге «Воспоминания», выпущенной издательством «Логос» в 1995 г. Не останавливаюсь на своей жизни в лагере особо. Отмечу только, что на Соловках я оказался среди людей старой культуры, у которых многому научился. Там я закончил свой «второй университет».

Соловки, а затем Беломорбалтийское строительство увеличили только мои знания и жизненный опыт, но были настоящей школой нравственности.

Срок моего заключения, как и большинства осужденных по нашему делу с зачетом рабочих дней заканчивался как раз тогда, когда заканчивалось и строительство канала. Сталин, желая показать свою барственную щедрость по отношению к «исправившимся» людям, полностью освободил «каналоармейцев» (так называли нас, заключенных, на строительстве Беломоро-Балтийского канала), сняв к тому же и судимость.

Прописаться в Ленинграде по выданному удостоверению о снятии судимости было просто, но вот получить работу гораздо труднее. Я готов был устроиться на любую должность, но под теми или иными предлогами меня никуда не брали. У меня открылось желудочное кровотечение. В больнице сказали моим родителям, что надежды мало. А тут как на зло пришло постановление из Москвы, в котором в противоречие с полученным мною от лагерной администрации полным освобождением мне назначался новый срок — высылка «минус двенадцать», т.е. запрещение жить в двенадцати наиболее значительных городах СССР. Надо было доказывать незаконность московского постановления. Это требовало времени. Врач, лечивший меня в Куйбышевской больнице (бывшей Мариинской) держал меня у себя, хотя я фактически был уже здоров, до тех пор, пока московское освобождение не было отменено.

В конце концов я устроился работать корректором в типографию «Коминтерн» (бывшую Синодальную), а оттуда уже в 1934 г. переведен «ученым корректором» (т.е. корректором, выполнявшим по совместительству обязанности и литературного, и технического редактора).

В 1938 г. до издательства АН СССР докатились высылки и аресты.

Меня к счастью только уволили и благодаря заступничеству академика А.С.Орлова и В.П.Адриановой-Перетц приняли в Институт русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР. С тех пор и по сей день 58 лет я работаю в Институте русской литературы (Пушкинском Доме РАН) сперва сотрудником, а потом заведующим Отделом древней русской литературы.

Начало Второй мировой войны и жизнь в заблокированном Ленинграде подробно описаны в моих неоднократно печатавшихся «Воспоминаниях». Не описано лишь то, что стало со мной и моей семьей (моим детям, Вере и Людмиле, было к этому времени уже по три года: я женился на сотруднице издательства Зинаиде Александровне Макаровой) после насильственной высылки из Ленинграда. Когда следователь ОГПУ вычеркнул в моем паспорте ленинградскую прописку и потребовал немедленного выезда, я обратился к прокурору об отмене незаконного распоряжения. Прокурор не стал вмешиваться в это дело, не отменил незаконного требования ОГПУ и посоветовал эвакуироваться с Ленинградскими учреждениями Академии. Через две недели отправлялся эшелон Академии Наук (чуть было не написал «этап») в Казань. Я записался, присоединив к нам няню наших детей, Тамару Михайлову, как члена семьи. Книги и рукописи я отвез в Пушкинский Дом, где они оставались до нашего возвращения.

Эшелон с эвакуировавшимися шел через Ладожское озеро. Погрузка на пароход совершалась в чрезвычайной спешке и я чуть было не отстал от своей семьи: пришлось прыгать на начавший отчаливать пароход. Этот прыжок из последних сил (я был очень слаб) надолго живо сохранился в моей памяти и снился мне в ночных кошмарах...

На той стороне Ладожского озера мы сутки искали свои вещи, зашитые в тюки и сданные почему-то на Московском вокзале в Ленинграде. Первая сытная кормежка была в Тихвине: большая порция пшенной каши, обильно политая растительным маслом и с куском колбасы. Первая баня была в Иванове. Одна характерная деталь: раздевалки были отдельные для мужчин и женщин, но помещение, где умывались, — общее, хотя и достаточно обширное, чтобы не находиться очень близко друг от друга.

В дальнейшем пути жена и няня, ходившие с бидонами за супом, на какой-то станции отстали от эшелона, и мы чуть было не разлучились. Во время войны это могло произойти навеки.

В Казани нас разместили в актовом зале Университета. Кровати удалось получить в обмен на хлеб. В непригодном для жизни помещении мы очень страдали от различных неудобств. Помню, что при входе в Университет в вестибюле стояла статуя Ленина, повелительным жестом указывавшая на туалет. Указующий жест этот был нам удобен, особенно ночью, когда не у кого было спросить правильным ли путем мы идем.

Примерно через месяц нас перевели жить во Дворец труда, где на две семьи — нашу из шести человек и математика С.Никольского из четырех человек — нам была предоставлена одна комната. Никольский, как математик вычислил — какую площадь должны были занимать его семья и наша. Границы были очерчены мелом. Эта меловая черта послужила поводом для игр между детьми. Сын Никольского ложился на пол и следил, чтобы мои девочки не переходили черту. Если граница нарушалась, он стегал девочек ремнем по ногам, естественно, что им хотелось обмануть мальчишку и они его задирали.

Первое время я был настолько слаб, что мне было трудно ходить, я волочил ноги как старик. Помню, что было очень трудно, переходя улицу, переступить с мостовой на тротуар. И все же хаки как только смог, я стал ходить в университетскую библиотеку и там работать с утра и до вечера. Зимой я работал в своей соловецкой овчинной шубе, в шапке и перчатках. В кармане согревал медную чернильницу XVII века, которую мне подарили в Казани же. Тут мною была подготовлена книга «Русские летописи и их культурно-историческое значение» (в сокращенном виде она вышла в 1947 г., затем — «Национальное самосознание древней Руси» (1945), «Новгород Великий» (1945) и собраны материалы для многих других статей и книг. Подробный список моих работ см.: «Д.С.Лихачев» в серии «Материалы к биобиблиографии ученых СССР», вып. 17, М., 1989, 301 страница.

Я не рассказываю здесь о моих мытарствах с пропиской в Казани (не хотели прописывать из-за вычеркнутой прописки в Ленинграде), о мытарствах с пропиской по возвращении в Ленинград (мы снова ехали с эшелонам, везя охраняемые нами два товарных вагона с материалами Рукописного отдела Пушкинского Дома).

Почти сразу по возвращении, еще не кончилась война, начались проработки — за «формализм», за «индоевропеизм» в языкознании, за «марризм», потом особенно длительно тянувшаяся борьба с «космополитизмом». Мои работы трудно было отнести к космополитическим, и может быть именно поэтому «проработки» меня тянулись долго и ожесточенно. Меня «прорабатывали» на двух заседаниях Ленинградского отделения Союза писателей в Белом зале, несколько раз на Историческом факультете ЛГУ, один раз на Филологическом факультете ЛГУ, один раз в «родном» Пушкинском Доме, причем любопытно, — сразу же после получения мною первой «Сталинской премии», как правило дававшей «иммунитет» от проработок и обязанность издательству повторно издать награжденный труд.

Я никогда не признавал себя виновным в обвинениях и это, по-видимому, меня спасало. Я помнил «золотое правило» гения нашей юриспруденции А.Я.Вышинского: «признание вины обвиняемым есть лучшее доказательство его преступления».

Древней русской литературой моя деятельность не ограничивается. Десятки раз я выступал в печати в защиту памятников русской культуры — зданий, улиц, парков и т.д., не ограничиваясь Ленинградом.

Благодаря моей деятельности мне удалось спасти от сноса, «реконструкций» и «реставраций» много памятников в России и на Украине, в Крыму, который я всегда особенно любил, и на Кавказе.

Труднее обстояло дело с моим преподаванием в высших учебных заведениях. Меня не допустили к преподаванию на филологических факультетах Ленинградского университета и Педагогического института имени Герцена, но разрешили преподавать на Историческом факультете ЛГУ, думаю, благодаря энергичному требованию декана Исторического факультета В.В.Мавродина. Однако и отсюда я был уволен в 1953 г.

Из общественных обязанностей я считаю наиболее продуктивными мое председательствование в серии «Литературные памятники» в «Советском фонде культуры», а также работу в качестве члена редколлегии академической серии «Научно-популярная литература». В Союзе писателей СССР я состою с 1956 г. (рекомендацию мне давали В.М. Жирмунский и В.Н. Орлов).

С 1953 г. - член-корреспондент АН СССР. С 1970 г. я действительный член (академик) АН СССР. Являюсь иностранным членом или членом-корреспондентом следующих Академий: Болгарии (1963), Сербской академии наук и искусств (1971), Венгрии (1973), Австрии (1968), Британии Италии (1986), Германии (Геттингенская Академия наук, 1988). Почетный доктор университетов: Торунь (1964) Оксфорд (1967), Эдинбург (1971), Бордо (1982), Цюрих Будапешт (1985), София (1988), Прага (Карлов университет, 1993). Член организации Сриска Матица (1970), Философского общества США (1982), Американской Академии искусств и наук (1993).

Понятно, что меня при советской власти редко выпускали за границу, а однажды вернули назад из Болгарии. В гостиницу «Рила» в Софии, где остановился я с женой, в ресторан за утренний завтрак явился представитель советского посольства и в присутствии моих друзей, болгарских ученых, предложил мне срочно вернуться назад, протянув мне с женой два авиабилета до Москвы, куда меня якобы срочно требуют дела. Я ответил, что уеду, но прямо в Ленинград, так как не верю, что я особенно нужен именно в Москве. Билет на ленинградский самолет был мне быстро доставлен в тот же день.

Свидетелем моей публичной высылки советскими властями из суверенной страны был, кстати, известный советский дипломат, член-корреспондент АН СССР Николай Трофимович Федоренко, сидевший за соседним столиком.

Были и более серьезные последствия особой нелюбви ко мне официальных инстанций. Многолетний главный редактор «Ленинградской Правды» Куртынин был немедленно снят за публикацию моей статьи о сохранении Екатерининского парка в Царском Селе. Отставленный от всех дел, он вскоре получил инфаркт и умер.

После двух плохо организованных покушений на мою квартиру и на меня явные попытки «проучить» меня угрозами закончились, но оскорбительные выходки продолжались. В 1978 г. в Загреб на Международный восьмой съезд славистов меня не пустили, хотя председатель Международной текстологической комиссии славистов польский академик Ян Гурский заранее объявил о своем желании видеть меня своим преемником на этом посту. Когда же выяснилось, что «компетентные органы» мне просто не разрешают выезд в «дружественную» страну, Международную текстологическую комиссию, имевшую на своем счету немало научных заслуг (несколько сот научных работ), попросту упразднили, хотя академик Гурский специально приехал в Загреб на выборы несмотря на свой возраст и болезненное состояние.

Таких «казусов» было со мной не мало и в других случаях. «Родная земля» отнюдь не гарантировала меня от них даже в первый год «перестройки». Расскажу о таком случае, который мог кончиться для меня «психушкой». М.С.Горбачев пришел к власти и впервые приехал в Ленинград. На удивление всем, я, беспартийный, был приглашен на большое партийное собрание в Смольный, на котором Горбачев должен был знакомить присутствующих с принципами перестройки и с предстоящими временами в Ленинградском обкоме партии. Мое присутствие вызвало не только удивление, но и раздражение, тем более, что М.С.Горбачев после окончания заседания, не знакомый с залом, остановил меня в единственном проходе и стал разговаривать со мной, помню, об организовывавшемся тогда Детском фонде. Весь зал стоял и ждал, когда мы с Горбачевым освободим проход. Обвинить Горбачева было немислимо. Обвинили меня. Решили, что я выжил из ума. Позвонили в Академическую поликлинику. Там заверили, что я вполне здоров и потери памяти у меня не наблюдалось. Однако меня вызвали в Обкомовскую поликлинику на Крестовском острове и там подвергли особенно тщательному обследованию невропатолога. Я вполне мог угодить в «психушку».

Будучи избран на съезд народных депутатов, я вполне мог вволю изучить наших правителей и даже раза три коротко выступить, успешно склоняя зал в нужном направлении. А.А.Собчак с большой похвалой отозвался об одном моем выступлении в своих воспоминаниях («Хождение во власть»), заявив, что выступление было «в лучших парламентских традициях». Как бы то ни было — Собчак юрист и к выступлениям относился профессионально.

Время пребывания моего на съезде было для меня чрезвычайно полезно, хотя и отняло у меня много времени от научной работы. Передо мной разворачивались трагические события в истории родины, я имел полную возможность увидеть и услышать тех, кто нашу историю «делал» и «как делал». Целые национальные делегации голосовали по знакам своих вождей.

В 1985 году на Будапештском форуме по безопасности и сотрудничеству деятелей культуры я замыслил организовать Советский Фонд Культуры, что позволило мне общаться со многими влиятельными людьми у нас и за рубежом. Признаюсь, что подбирать людей для работы я не умел и это в конечном счете привело к «замусориванию кадров», а в результате к гибели Фонда. Однако я встречался со многими видными европейскими людьми. Мы с женой были приняты на индивидуальной аудиенции папой Иоанном-Павлом Вторым, президентом Италии Скальфо. Я имел деловую встречу во дворце Трокадеро с женой президента Франции госпожой Миттеран. Встречался с президентом Чехии В. Гавелом у него дома. В Ассуане на организационных совещаниях по поводу Александрийской библиотеки я встречался с президентом Египта Мубараком, с королевой Испании, с королевой Иордании, с принцессой Монако Каролиной, с премьер министром Норвегии. Впоследствии я присутствовал как гость на вручении Нобелевской премии в Стокгольме. Был на даче у президента Финляндии. Был на приеме в посольстве США в Москве у президента США Рейгана, летал на его самолете. Был с Горбачевым в Белом доме. Был по приглашению с дочерью Людмилой в имении принца Уэльского Чарльза. Встречался с еще многими людьми. Я это пишу не для хвастовства, хотя, конечно, немного и хвастаюсь. Просто мне самому любопытно — с каким широким кругом людей мне приходилось иметь дело: от «занюханых» беспризорников на Соловках и до святейшего папы римского. Люди всегда меня интересовали в первую очередь. И не случайно, мне думается, моей любимой темой всегда оставалась тема «Человек в древней Руси».